

«...лакеи в черных кафтанах с аксельбантами из лент по цвету герба»;<sup>31</sup> «Шесть лошадей тащили дроги; на них, под богатым балдахинном, качался роскошный гроб княгини Татьяны Сергеевны. Сотни факелов, разноцветные ленты на плечах прислуги, разноцветные гербы на лошадях, пестрота толпы и, наконец, бесконечная нить экипажей — все вместе составляло прекрасную картину»;<sup>32</sup> «Заливаясь слезами, выражая свое сожаление о кончине Пушкина, она шепнула мне сквозь слезы, кивнув головою на стоявших у гроба официантов во фраках с пучками разноцветных лент на плечах: — *Voquez, je vous prie, ces gens: sont-ils insensibles?..* Хотя бы слезинку проронили!».<sup>33</sup>

Мизансцена 'старая графиня в окружении слуг с лентами' напоминает описанную в начале второй главы: *Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета.* Поясное изображение «пиковой дамы» как бы заключено в рамку — зеркала в сцене одевания и гроба в сцене отпевания.

<sup>31</sup> Высочайше утвержденный церемониал погребения Московского военного генерал-губернатора, генерала от кавалерии светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына // История Московского купеческого общества, 1863–1913. М., 1916. Т. 2. Вып. 1. С. 674.

<sup>32</sup> Все сочинения Василия Александровича Вонлярлярского. СПб., 1853. Ч. 1. С. 16.

<sup>33</sup> Мое знакомство с А. С. Пушкиным: (Из воспоминаний Александры Михайловны Каратыгиной) // Русская старина. 1880. Т. 28. Вып. 7. С. 572.

DOI: 10.31860/0131-6095-2021-4-108-122

© С. А. Кибальник

## КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА РАССКАЗА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ И БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ)\*

Рассказ Ф. М. Достоевского «Вечный муж» (1869) остается до сих пор во многом неразгаданным произведением. До конца не понятны личные импульсы, вдохновившие писателя на его создание. А без этого и центральная тема «Вечного мужа» — тема вины каждого человека за каждого, впоследствии как таковая сформулированная в «Братьях Карамазовых», а здесь развитая применительно к ситуации супружеской измены, — не выявляется во всей ее полноте.

### 1

Как предположила С. Гренье, рассказ Достоевского «Вечный муж» представляет собой реинтерпретацию романа А. И. Герцена «Кто виноват?» (1847), сюжет которого в нем как бы продолжен. В ходе этого продолжения точка зрения мнимого протагониста, героя-любownika Вельчанинова, подвергается сомнению с позиций обманутого мужа Трусоцкого.<sup>1</sup>

\* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-18-00333, ИРЛИ РАН).

<sup>1</sup> См. изложение ее доклада: *Grenier S. Dostoevsky's Polemic with Herzen in The Eternal Husband* // XV Симпозиум Международного общества Ф. М. Достоевского «Достоевский и журнализм»: Тезисы докладов = XV International Dostoevsky Symposium «Dostoevsky and Journalism»: Abstracts. М., 2013. С. 40.

Гипотеза исследовательницы кажется весьма вероятной прежде всего потому, что фамилии главных героев рассказа «Вечный муж» представляют собой неточные распространенную (Владимир Бельтов — Вельчанинов) и сокращенную (Жрудиферский — Трусоцкий<sup>2</sup>) анаграммы. По-видимому, отчасти к роману Герцена отсылает и имя-отчество Трусоцкого. В «Кто виноват?» точно так же: Павел Павлович — зовут начальника по службе, который был у Бельтова в течение его недолгой петербургской карьеры. Звучит оно только несколько раз, в разговоре двух его сослуживцев о Бельтове: «— Да-с, точно, малый умный, отнять нельзя. Я вчера слышал, он спорил с Павл Павлычем; тот, знаете, не любит возражений, а Бельтов этот не в карман за словами ходит. Павла Павлыч начал сердиться; я, говорит, вам говорю так и так, — а Бельтов: да помилуйте, вот так и так» (IV, 101).

Разумеется, характером эпизодический герой романа Герцена не очень сроден с героем рассказа Достоевского. А впрочем, разве мы знаем, как держал себя на службе Трусоцкий? Тем более что одна из заветных мыслей, которую Достоевский развивает в «Вечном муже» в противоположность Аполлону Григорьеву и Н. Н. Страхову, — о том, что ни «хищного», ни «смирного» типов в действительности в чистом виде не встречается (см.: 9, 55–56).

В ответ на просьбу Трусоцкого разъяснить ему «про хищный тип-с», Вельчанинов говорит: «— Хищный тип это тот, — остановился он вдруг в ярости, — это тот человек, который скорей бы отравил в стакане Багаутова, когда стал бы с ним „шампанское пить“ во имя приятной с ним встречи, как вы со мной вчера пили, — а не поехал бы его гроб на кладбище провожать, как вы давеча поехали, черт знает из каких ваших сокрытых, подпольных, гадких стремлений и марающих вас самих кривляний!» (9, 55).

В ответ на это Трусоцкий «сообщает» Вельчанинову «анекдотик» о том, как таковой вот, на первый взгляд, совсем «смирный» тип, который, казалось бы, спокойно снес обиду, кончает, однако, тем, что пыряет ножом своего обидчика: «— Да всё к тому же-с, что пырнул же ведь ножом-с, — захихикал Павел Павлович, — ведь уж видно, что не тип-с, а сопля-человек, когда уж самое приличие от страха забыл и к дамам на шею кидается в присутствии губернатора-с, — а ведь пырнул же-с, достиг своего!» (9, 56).<sup>3</sup>

Нам уже пришлось однажды показывать, что свежие впечатления от романа Герцена явно отразились в текстах романов Достоевского «Игрок» и «Идиот». <sup>4</sup> Попробуем представить себе теперь, как Достоевский перечитывал роман «Кто виноват?» в заграничный период своей жизни, когда он уже хорошо знал не только о первой

<sup>2</sup> При этом фамилия «Трусоцкий» имеет прозрачную этимологию, а слово, от которого она образована, неоднократно звучит на страницах как «Вечного мужа»: «Дело, кажется, шло о каких-то деньгах; дамы очень трусили и спешили», «...Павел Павлович трусил вслед за всеми...»; также в черновиках: «Слух о трусовстве» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 9. С. 60, 77, 115; здесь и далее курсив, за исключением специально оговоренных случаев, наш. — С. К.; далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома и страницы арабскими цифрами), — так и романа «Кто виноват?»: «Бельтов во второй раз встретился с действительностью при тех же условиях, как в канцелярии, — и снова трусил перед ней», «Карп Кондратьич, в дополнение, был трус величайший...», «Бельтов смотрел на старика с удивлением. — Коли я уж начал говорить, так буду, как македонский солдат, вещи называть своим именем, а там что будет, не мое дело; я стар, однако трусом меня никто не назовет, да и я, из трусости, не назову неблагородного поступка — благородным. — Послушайте, Семен Иванович! Я уверен, что вы не трус, да еще более уверен в том, что и меня вы не считаете за труса...» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 4. С. 120, 141, 200; далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома римской и страницы арабской цифрой).

<sup>3</sup> Как констатирует И. З. Серман, «в „Вечном муже“ Достоевский не теоретически, а своей художественной практикой опроверг схему деления характеров на „смирненных“ и „хищных“, предложенную Аполлоном Григорьевым и несколько догматически развивавшуюся Н. Н. Страховым» (Серман И. З. Достоевский и Ап. Григорьев // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 142).

<sup>4</sup> См.: Кибальник С. А. Морфология романа Достоевского и современные проблемы теории интертекстуальности // Кибальник С. А. Чехов и русские классики: проблемы интертекста. СПб., 2015. С. 127–131.

(1851–1852), но и о второй (берущей начало в 1856 году) семейной драме Герцена.<sup>5</sup> Например, когда он читал строки, связанные с ложным положением незаконной дочери Негрова в его доме: «Через час кровать была в людской, и Алексей Абрамович приказал камердинеру приучать ребенка называть себя „тятей“. <...> Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать — матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня — ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, разодела Любоньку, как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. „Сиротка, — говорила она ей, — у тебя нет папаши, нет мамы, я тебе буду все...“ <...> С тем вместе она (Любонька. — С. К.) должна была понять всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе, развитию чахотки» (IV, 20, 26, 28).

Когда Герцен писал вышеприведенные строки, он, несомненно, отчасти имел в виду собственное положение в семье своих родителей и в то же время, по-видимому, положение своей — также незаконнорожденной — жены Н. А. Герцен (в девичестве Захарьиной) в доме ее родителей. Свидетельством первого является довольно прозрачная неполная анаграмматичность фамилии «Негров» по отношению к фамилии «Герцен». Между тем, когда Достоевский перечитывал их в конце 1860-х годов, ему, должно быть, невольно приходило в голову, что в положении незаконнорожденного ребенка, в котором рос сам Герцен, оказались затем его собственные дети, рожденные от законной жены его друга Н. П. Огарева.

В образе Бельтова, без сомнения, есть и другие легко считываемые автобиографические моменты, которые, скорее всего, видел Достоевский. Например, следующая ремарка: «...чего у него недовешивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3000 душ незаложенного имения...» (IV, 71) — точно соответствовала собственному положению Герцена в обществе на протяжении всей его жизни в России в 1830–1840-е годы. Они тем более очевидны, что уже в предисловии к роману, датированном 8 июня 1859 года (IV, 7), Герцен писал: «В первое время моего переезда из Вятки в Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез...». При этом самим Герценом была дана ссылка на страницы его книги «Былое и думы», на которых это воспоминание приведено (IV, 326).

Оно содержится в главе XXI «Разлука» части третьей «Былого и дум» «Владимирна-Клязьме» (1838–1839) и относится к увлечению Герцена некой молодой блондинкой Р.,<sup>6</sup> бывшей замужем за человеком вдвое ее старше. Она ответила на чувство Герцена, но после смерти ее мужа тот охладил к ней, по его собственным словам, «увлекаясь больше и больше моей симпатией к отсутствующей кузине» (VIII, 344) — впоследствии его жене Н. А. Герцен.

В «Былом и думах» Герцен осмысляет это свое былое увлечение в тонах, напоминающих роман «Кто виноват?»: «Зачем она встретила именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло, новая жизнь любви, гармонии была так возможна для нее! Бедная, бедная Р.! Виноват ли я, что это облако любви, так непреодолимо набежавшее на меня, дохнуло так горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потом?» В конце концов Герцен «откровенно рассказал ей всю правду» в письме. Далее следуют строки, которые рифмуются с предисловием к роману «Кто виноват?»: «Уехав из Вятки, меня долго мучило воспоминание об Р. Мирясь с собой, я принялся писать повесть, героиней которой была Р. Я представил барича екатерининских времен, покинувшего женщину, любившую его, и женившегося на другой» (VIII, 344, 349, 350).

<sup>5</sup> О том, что Достоевский в самом начале своего пребывания за границей приобрел и читал «произведения Герцена», существует свидетельство его жены (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 2015. С. 206).

<sup>6</sup> Как отмечено в комментарии к академическому изданию Собрания сочинений Герцена, «имеется в виду П. П. Медведева» (IV, 326).

Очевидно, однако, что повесть, которую писал тогда Герцен, была лишь зерном, из которого в будущем пророс роман «Кто виноват?». Впоследствии, по мере работы над ним в 1841–1844 и особенно в 1845–1846 годах, он включил также и множество других автобиографических моментов.

Впрочем, некоторые эпизоды жизни Бельтова вызывают ассоциации с жизнью даже не самого Герцена, а скорее Н. П. Огарева. Это касается, например, мимолетного увлечения Бельтова некой вдовой: «Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокого образования; у нее-то в доме Владимир робко проговорил первое слово любви и *смело подписал первый вексель на огромную сумму*, проигранную им в тот счастливый вечер, когда он, рассеянный и упоенный, играл, не обращая никакого внимания на игру; да и до игры ли было? Против него сидела она, и он так ясно читал в ее глазах любовь, вниманье! <...> после опыта любви, на который потрачено много жизни, и после нескольких векселей, на которые потрачено довольно много состояния, он уехал в чужие края — искать рассеянья, искать впечатлений, занятий и проч. <...>» (IV, 106, 107).

В этих строках можно видеть скорее отзвук первого брака Огарева с М. Л. Рославлевой, продолжавшегося с 1838 по 1844 год, после чего она уехала за границу с любовником, получив от Огарева вексель на 300 тысяч рублей, с которых он ежегодно выплачивал ей шесть процентов. Вся эта история, продолжавшаяся до смерти первой жены Огарева в 1853 году, закончилась для него полным разорением.

Очевидно также, что некоторые черты Огарева отразились в характере Круциферского: «Характер Круциферского определить трудно: натура нежная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся, он имел столько простосердечия и столько чистоты, что его нельзя было не полюбить, хотя *чистота его и сбивалась на неопытность, на неведение ребенка. Трудно было бы сыскать человека, более не знающего практическую жизнь*; он все, что знал, знал из книги, и оттого *знал неверно, романтически*, риторически; он свято верил в действительность мира, воспетого Жуковским, и в идеалы витающие над землей» (IV, 156).<sup>7</sup>

Между прочим, именно в романе Герцена Достоевский нашел, по-видимому, и мысль, на которую он опирался в своем рассказе, переосмысливая в нем четкое противопоставление «хищного» и «смирного» типов, сделанное Аполлоном Григорьевым и затем Страховым.

Мысль эта находится в «журнале» Любоньки Круциферской: «26 июня. Как все странно и перепутано в людских понятиях! Подумаешь иногда и не знаешь: сердиться ли или хохотать. Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженнейшая любовь — высочайший эгоизм, что высочайшее смирение, что *кротость — страшная гордость, скрытая жесткость*; мне самой делается страшно от этих мыслей, так, как, бывало, маленькой девочкой я считала себя уродом, преступницей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексея Абрамовича; что же мне делать, как оборониться от своих мыслей и зачем? Я не ребенок. Дмитрий не обвиняет меня, не упрекает, ничего не требует; он сделался еще нежнее. *Еще!* Вот в этом-то *еще* и видно, что все это неестественно, не так; *в этом столько гордости и унижения для меня* и такая даль от понимания. Он очень страдает, но что же сказать о той женщине, которая за любовь платит отравой? Да, боже мой, хотела ли я этого! Я говорила с ним откровеннее, нежели бы это сделала другая женщина; он, видимо, уступает, но в то же время у него накапливается *совсем другое в душе*, и он не совладевает с этим другим» (IV, 186–187).

Вот это «совсем другое в душе», которое накапливается в случае измены даже у такого «кроткого» героя, как Дмитрий Круциферский, и стало предметом психологического исследования в рассказе Достоевского.

<sup>7</sup> Подобная размытая прототипичность, когда черты одной и той же личности отражаются то в одном, то в другом герое произведения, вполне характерна для многих писателей, в частности для самого Достоевского. См.: *Кибальник С. А. Нечаевцы или петрашевцы? (О прототипах главных героев романа Достоевского «Бесы»)* // *Неизвестный Достоевский. 2020. № 2. С. 125–126.*

## 2

Основная сюжетная коллизия рассказа «Вечный муж» комментатором академического издания Полного собрания сочинений Достоевского И. З. Серманом связывается главным образом с впечатлениями писателя от любовного романа его семипалатинского друга и покровителя барона А. Е. Врангеля с женой начальника Алтайского горного округа А. Р. Гернгросса. В характере Екатерины Иосифовны Гернгросс, с которой Достоевский встречался в Барнауле и о которой неоднократно писал Врангелю, усматривают «зерно воплощенного в „Вечном муже“ особого типа женщины» (9, 473). Между тем, по признанию самого И. З. Сермана, муж ее А. Р. Гернгросс к типу «мужа-ревнивца, мужа смешного и третируемого» «очевидно, не подходил» (9, 474).

Другое предположение о биографической основе рассказа относится к разладу между доктором С. Д. Яновским и его женой, актрисой А. И. Шуберт (9, 474–475). Однако во-первых, как отмечает сам И. З. Серман, из-за недостатка материалов «у нас нет возможности более обстоятельно сравнить Трусоцкого с С. Д. Яновским» (9, 474), а во-вторых, разлад этот относился к 1860 году. Между тем литературные произведения, как правило, создаются под влиянием прежде всего гораздо более свежих впечатлений.

Вместе с тем, как отметила Н. А. Тарасова, рассказ содержит отсылки к истории женитьбы Достоевского на М. Д. Исаевой, которая в период знакомства с писателем была увлечена Н. Б. Вергуновым. Причем в «Плане для рассказа (В «Зарю»)» есть криптоним, который подтверждает наличие существенного автобиографического подтекста в замысле рассказа «Вечный муж»: «М. Д-на» (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 6. С. 62).<sup>8</sup> Легко разгадываемый — «Марья Дмитриевна», — он тем самым обнаруживает связь замысла с воспоминаниями Достоевского о ревности, которую он испытывал к Вергунову в период своего увлечения Исаевой.<sup>9</sup> В подтверждение этой версии можно сказать также, что фамилии главных героев рассказа: «Вельчанинов» и «Трусоцкий» — частично анаграмматичны по отношению к фамилиям их прототипов: «Вергунов» и «Достоевский».

Очевидно, что при таком варианте примеривания ролей Вельчанинова и Трусоцкого на себя Достоевский соотносил себя прежде всего с последним.<sup>10</sup> Последние версии многое объясняют в биографических импульсах к созданию рассказа, но остается непонятным, что послужило непосредственным поводом к его написанию.

<sup>8</sup> Эти и многие другие важные наблюдения в области текстологии и новых методов исследования творческого наследия Достоевского стали возможны в том числе благодаря работе, которая была начата в рамках двух проектов, поддержанных Российским научным фондом, — «Рабочие тетради Ф. М. Достоевского: первая полнотекстовая публикация автографов в их динамической транскрипции» (2016–2020, руководитель С. А. Кибальник), «Новые методы изучения рукописного наследия Ф. М. Достоевского» (2020–2023, руководитель Н. А. Тарасова). На сайте электронного архива (<http://dostoevsky-archive.ru/>) опубликованы все рабочие тетради Достоевского в цифровых копиях, а также представлены комментированные исследовательские расшифровки рукописей, подготовленные объединенными усилиями петербургских, московских и петрозаводских текстологов. В настоящее время развитие сайта продолжается.

<sup>9</sup> См. об этом: Тарасова Н. А. Текстологический анализ и новые факты истории текста (на материале рукописей Ф. М. Достоевского) // Достоевский и мировая культура. 2020. № 2. С. 166.

<sup>10</sup> Благодарю за это соображение Н. А. Тарасову. Однако позднее, вспоминая уже в черновиках «Подростка» о своем намечавшемся романе с невесткой своей сестры Веры, замужней дамой Еленой Павловной Ивановой (см.: 16, 243, 275, 291, 292; 17, 417), Достоевский примеривал сюжет своей повести на себя самого уже противоположным образом — соотнося себя скорее с Вельчаниновым. Обратим внимание также и на то, что связь «Подростка» с «Вечным мужем» четко просматривается в развитии Достоевским диалектики «хищного типа», который он в подготовительных материалах к «Подростку» применяет уже не только к мужскому, но и к женскому характеру. Так, «Идея романа» в «Заметках, планах, набросках. 11 (23) июля — 7 (19) сентября 1874») формулируется им следующим образом: «Хищный тип — женский, Лиза, а не ОН» (16, 57; а также 16, 6–7, 38–39, 56–59, 92, 112–113, 116, 120 и др.).

Между тем в «Плане для рассказа (В «Зарю»», сохранившемся в рабочих тетрадях Достоевского (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 6. С. 85–86), обращает на себя внимание и другая деталь, относящаяся, по-видимому, к герою, впоследствии получившему фамилию «Трусозкий»: «NB. Или *millyt tin à la Off*, или убийца серьезный из подполья» (9, 118). Очевидно, что здесь имеется в виду Н. П. Огарев, с которым чета Достоевских общалась с августа 1867 по начало 1868 года.<sup>11</sup> Как известно, отношения между ними были довольно теплые, и их характер вполне соответствует восприятию Достоевским Огарева как «милого типа».<sup>12</sup>

Однако когда Достоевский на протяжении полугода виделся в Женеве с Огаревым,<sup>13</sup> а затем в конце марта 1868 года встретился с Герценом, приехавшим поддержать своего сломавшего ногу соратника и друга (28, 2, 282), он, конечно, не мог не задумываться о личной жизни этого «милого типа». Довольно драматическое переплетение семейной истории Герцена и Огарева наводило на мысль о том, что каким бы «милым» он ни был, в сложившихся обстоятельствах Огарев мог, однако, более не испытывать однозначно дружеских чувств по отношению к Герцену.<sup>14</sup>

Тем более что сам Достоевский в данном случае мог свериться со своими собственными былыми чувствами по отношению к испанцу Сальвадору, с которым ему изменила в 1863 году А. П. Сулова, и по отношению к Вергунову, с которым ранее, еще до брака, изменяла ему Исаева.<sup>15</sup> Наконец, Достоевский мог представить себе, какие чувства, возможно, испытывал к нему самому муж Исаевой А. И. Исаев в первой половине 1855 года в Семипалатинске. По всей вероятности, такой вот скрытый автобиографизм, при котором реальные личные обстоятельства, в которых создавалось литературное произведение, предстают в нем в значительной степени трансформированными,<sup>16</sup> также объясняет некоторые психологические импульсы Достоевского к созданию рассказа «Вечный муж». Однако за недостатком материала нам, как правило, очень непросто высказывать о них сколько-нибудь основательные суждения.<sup>17</sup>

<sup>11</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания. 1846–1937. С. 220–221. В письме к М. Мейзенбург от 15 (27) — 16 (28) февраля 1868 года среди посещающих Огарева Герцен отмечает Достоевского (XXIX, 1, 283–284). Вопреки «Воспоминаниям» Достоевской, после того как Огарев сломал ногу, его из Женевы в Италию не увозили, но у Достоевских 22 февраля (5 марта) 1868 года родилась дочь Софья, и о дальнейших встречах его с Огаревым в это время ничего не известно (Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 710).

<sup>12</sup> См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: В 3 т. СПб., 1999. Т. 2. 1865–1874. С. 131–161.

<sup>13</sup> Помимо многого, о чем упоминает Достоевская в своих «Воспоминаниях», Достоевского и Огарева, по всей вероятности, отчасти связывала их общая болезнь — эпилепсия.

<sup>14</sup> Разумеется, не мог не прийти на мысль в связи с этим случай сожительств Н. А. Некрасова с женой И. И. Панаева А. Я. Панаевой и гораздо более свежий пример, имевший место в Женеве 1867–1868 годов на глазах у Достоевского: жена сосланного в Вологодскую губернию Н. В. Шелгунова Л. П. Шелгунова, содержавшая пансион для русских политических эмигрантов, была вначале гражданской женой друга ее мужа, поэта М. Л. Михайлова, а затем — революционера А. А. Серно-Соловьевича, от которого она в 1864 году даже родила сына.

<sup>15</sup> Это могло происходить и впоследствии, когда Исаева уже стала его женой, причем после ее смерти в 1863 году Достоевскому могли открыться прежде неизвестные ему сведения. Однако подобными фактами мы не располагаем.

<sup>16</sup> См., например: *Томашевский Б. В.* Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925. С. 61.

<sup>17</sup> Иногда в связи с этим используется понятие «криптографический автобиографизм» (см., в частности: *Баршт К. А.* Достоевский: этимология повествования. СПб., 2019. С. 38–57). Понятие это вряд ли имеет смысл, поскольку «автобиографизм» направлен ровно на то, чему противодействует «криптография». Попутно отметим, что, затрагивая проблему криптографической поэтики Достоевского вообще и «Села Степанчикова...» в частности, Баршт совершенно не ссылается на своих предшественников в изучении данной темы. Ср.: *Назирова Р. Г.* Пародии Чехова и французская литература // Назирова Р. Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сб. статей. Уфа, 2005. С. 150–158; *Алекин В.* Об одном из прототипов Фомы Опсина // Достоевский и мировая культура. М., 1998. № 10. С. 243–247; *Кибальник С. А.* 1) «Село Степанчиково и его обитатели» как криптопародия //

Герцен еще в связи со своей первой семейной драмой — увлечением его жены Натальи Александровны немецким поэтом Георгом Гервегом, которое закончилось ее смертью в 1852 году, — писал в «Былом и думах» о том, что сюжетная коллизия его романа «Кто виноват?» неожиданным образом спустя несколько лет отозвалась в его собственной судьбе: «На другое утро я взял свою старую повесть „Кто виноват?“ и перечитал журнал Любеньки и последние главы. Неужели это было пророчество моей судьбы <...>?.. Но внутренний голос говорил мне: „Какой ты Круциферский — да и он что за Бельгов — где в нем благородная искренность, где во мне слезливое самоотвержение?“ И середь уверенности в минутном увлечении Natalie я был еще больше уверен, что мы померимся с ним, что он меня не вытеснит из ее сердца» (X, 259).<sup>18</sup>

Тем не менее еще в большей степени эти параллели приходили в голову теперь, когда гражданской женой Герцена, матерью троих его детей, стала жена Огарева Н. А. Тучкова-Огарева, а сам Огарев жил в Женеве со своей гражданской женой, в прошлом английской проституткой Мери Сетерленд. Сюжет герценовского романа, таким образом, в личной жизни Герцена и Огарева в конце концов все-таки реализовался, и Герцен-Бельгов все же увел жену у Огарева-Круциферского — разумеется, со всеми оговорками, что в реальности все было не совсем так и, как всегда в жизни, гораздо сложнее. Однако все же, как и в романе «Кто виноват?», счастья это никому из них не принесло, а вопрос, поставленный в его заглавии, приобрел еще большую остроту, уже применительно к собственной судьбе Герцена, Огарева и Тучковой-Огаревой.

С учетом того, что Огарев теперь постепенно спивался, контуры судьбы Круциферского проступали в нем довольно явственно. Между тем именно это происходит и в рассказе Достоевского с Трусоцким. Более того, при внимательном рассмотрении этот его герой на протяжении всей своей «карьеры» «вечного мужа» обнаруживает необычайное сходство с характером Огарева и со всей невеселой историей его матримониальных отношений.

Почти на всех, как и на Достоевского, Огарев производил впечатление как раз «милого», или «смирного» типа. Даже его вторая жена Тучкова-Огарева признавала: «Надобно было что-нибудь слишком необыкновенное, чтобы Огарев потерял терпение и рассердился, и то на равных, а не на подчиненных; он был олицетворенный покой и *кротость*». Знаяший Огарева смолоду Герцен отмечал, что он «был одарен особой магнитностью, *женственной способностью притяжения*. Не разделяя такого мнения об Огареве сама, первая жена Герцена Н. А. Герцен упоминает о том, что «...все почитают его *слабым, распущенным до эгоизма, избалованным до сухости, до равнодушия*».<sup>19</sup>

Смолоду Огарев отличался как, по его собственному признанию, «ужасной влюбчивостью», так и беспримерной терпимостью к предметам этой влюбчивости. «Жена его уехала в Италию в сопровождении одного молодого русского художника и там осталась, — вспоминал о нем П. В. Анненков. — Это было предвестие близкого разрыва, который, однако, осуществился довольно поздно, только в 1844 году». В его разезде и добровольном разделе собственного имущества с изменившей ему и уехавшей от него с любовником первой женой окружающие единодушно видели проявление чрезмерного великодушия и даже слабохарактерности. «Итак, желание спасти некогда любимую женщину от дурной славы, как покинутой и презренной жены, было единственным поводом *самоотверженной покорности* Огарева, — резюмировал П. В. Анненков. — Друзья его в Москве не были, однако же, нисколько умилены его поступком, в котором усматривали только *руку коварной женщины, привыкшей играть на благородных чувствах мужа*, как на знакомом инструменте...».<sup>20</sup>

Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2010. Т. 19. С. 139–140; 2) Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского. СПб., 2013. С. 139–140.

<sup>18</sup> Е. К. Созина не без основания отмечает «факт „застревания“ сознания и жизни писателя» на ситуации такого «любовного треугольника» (Созина Е. К. Сознание и письмо в русской литературе. Екатеринбург, 2001. С. 237).

<sup>19</sup> Н. П. Огарев в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 247, 65, 234.

<sup>20</sup> Там же. С. 131, 157, 162.

Еще большее изумление вызвала, например, у Герцена реакция Огарева на следующие события: «10 октября 1844 года. Марья Львовна скоро подарит Огареву наследника, привезенного из Италии, и le bon mari премией за такое усердие признает его и, вероятно, отдаст имение. Для чего это?.. Всякая весть о нем меня глубоко огорчает и расстроивает. Да когда же предел этим *гнусностям их семейной жизни?*»<sup>21</sup> Ребенок, правда, родился мертвым, и вот как сам Огарев сообщал друзьям об этом: «Мое намерение быть отцом рушилось... Родился недоносок, мертвый ребенок, *с такой жалобной физиономией, что я до сих пор забыть не могу.* Сегодня уже 8 дней. Жена здорова».<sup>22</sup>

К сожалению, те же отношения у Огарева сложились и с Мери Сетерленд. Тучкова-Огарева вспоминает сцену скандала, которую она устроила ей и Огареву на собрании эмигрантов в Женеве, посвященном обсуждению убийства С. Г. Нечаевым студента И. И. Иванова и относящемся, по всей видимости, к 1869 году: «По лицу Огарева я сейчас заметила, что он *не совсем трезвый*; все сели, Огарев — возле меня, облокотился на мой стул и дремал. Он старался внимательно слушать, что говорилось, но не мог и только изредка, кстати и некстати, говорил: „Пожалейте его, господа, просите за него“ (т. е. за Нечаева). <...> Когда пробил полночь, Мери пришла за Огаревым. К несчастью, она вовсе не была та кроткая женщина, которую так мило описала Т. П. Пассек, не знавшая ее ничуть. Лицо ее (couperosé) показывало, что она часто заглядывала в бутылку. По ее отрывистой походке, по неровным движениям я догадалась, что она пьяна, и старалась отодвинуть свой стул от Огарева, который ничего не замечал, добродушно улыбался и опять придвигался. Я рада была, когда все встали и начали собираться выходить. Огарев один все еще сидел. Вдруг, раздвигая бесцеремонно толпу, Мери подходит к нам, начинает говорить дерзости по-английски с поднятыми кулаками.

— Господа, — вскричала я в испуге, — что мне делать, я не умею драться.

Тогда Нечаев и другие схватили Мери и повели ее вон. Кто-то из присутствующих подошел к Огареву и предложил ему проводить его домой. Мы стояли с Наташей, обрадованные нашему неожиданному избавлению, но испуганные за Огарева. Передав кому-то Мери, Нечаев опять подошел к нам, и мы обе в один голос стали просить его не оставлять Огарева одного с этой страшной женщиной.

— Нет, нет, — отвечал он, — я поручил охранять его, да что же делать, *ему час-тенько достаётся*, да кто виноват, *зачем связался с такой женщиной*».<sup>23</sup>

Достоевский, разумеется, не мог быть свидетелем этой сцены (его в это время уже и не было в Женеве), но, скорее всего, имел представление о домашнем быте Огарева.<sup>24</sup> И вот почему в своем рассказе он не в последнюю очередь отталкивался не только от сюжетной коллизии романа Герцена, но и от реальных отношений между Герценом и Огаревым.

Правда, о том, какими они были в 1856 году, когда Тучкова-Огарева стала жить с Герценом, мы не знаем. Однако можем представить их себе по ее записным книжкам: «Вот тяжелые времена! А я, безумная, думала забыться, отдохнуть; сначала я боялась страшных несчастий, но все пошло хорошо; Огарев понял — и не удалился, стало, ему не должно быть больно, а между тем у меня иногда сердце сжимается, глядя на него; неужели я, именно я, нанесу ему тяжелый удар? ведь это насмешка жизни, да и зачем? <...> зачем невольно ищешь всей полноты жизни, всего несбыточного и непонятного

<sup>21</sup> Цит. по: Там же. С. 164–165. Последняя цитата из письма Герцена к Н. А. Кетчеру от 10 и 17 октября 1844 года неточна. Ср.: XXII, 201.

<sup>22</sup> Там же. С. 165. Неточная цитата из письма Огарева московским друзьям от 10 и 17 октября 1844 года (ср.: Русская мысль. 1891. № 6. С. 7, 8).

<sup>23</sup> Тучкова-Огарева Н. А. Из «Воспоминаний» // Там же. С. 310–311.

<sup>24</sup> Между прочим, вскоре после того, как Достоевский познакомился с Огаревым, того вместе с Мери Сетерленд вызывали к судебному следователю в связи с исчезновением из их дома Шарлотты Гетсон, матери ребенка сына Герцена А. А. Герцена, который воспитывался в семье Огарева. См. об этом: Письмо Н. П. Огарева А. А. Герцену от 20 сентября <1867 года> // Лит. наследство. 1997. Т. 99. Герцен и Огарев в кругу родных и друзей. Кн. 1. С. 378.



для других <...> Нет, нет, это все неистинно — *я одна виновата*, чего я хотела? <...> Страшно, страшно — умереть хочется <...> Чувство к нему, полное веры, преданности, любви, как будто задремало; мне казалось, что здесь он отвык от меня и что он сам как будто удаляется, и мне пришла *светлая мысль быть им обоим любящей, преданной сестрой*, а детям, я не смею и здесь сказать: матерью, но заботливой любящей нянькой... <...> Когда я увидела, что, побежденный моей страстной любовью, Герцен тоже меня полюбил, я вдруг бросилась к Огареву, разом поняла его боль (мне казалось, что я на его месте никогда бы не могла вынести этого) и разом все прошедшее пронеслось перед моими глазами так ярко, так хорошо, что я остановилась испуганная, и я ни шагу более не шагнула, не узнавши, как Огарев смотрит на все. Так принять, как он принял, так бесконечно широко понять, ни один, да, я смело это говорю, ни один человек не мог бы, он это сделал с каким-то простодушием, свойственным одной его нежной и широкой натуре, и тогда я все поняла и полюбила его еще больше, он как-то ближе еще мне стал, и я искала его руки, чтоб окончательно победить страстную привязанность к Герцену. Мне иногда кажется, что он этого хотел бы, но он не подал мне руки, он не хотел жертвы. И часто в продолжении этого времени мне казалось, что ему больно, и всякий раз на эту боль из моей груди вырывался болезненный крик, мольба о помощи, тяжелое сознание собственного бессилия». <sup>25</sup>

Перспектива рождения ребенка от Герцена заранее вызывала у Тучковой-Огаревой тревогу: «Я думаю, что наша любовь уродство — зачем? Что же она может нового внести в нашу жизнь? — Собственную семью, ребенка, который бы мне был так дорог, да он тоже этого боится, и он прав, это была бы гибель, новый удар самым близким!» По всей видимости, недалеко от истины ее предположения о том, что испытывали в это время Огарев и Герцен: «*Огареву больно, он не может этого скрыть от меня*, он был сегодня странно раздражителен и сух со мной, мне это больше отозвалось всех вспышек Герцена. *Он и не был прав, всегда утешен своей правотой, а Огарев действительно правый, не кричит об своем праве*. Мне страшно, ноги подкашиваются, так эта рука, которую я так крепко сжимала в своих руках, оставляет меня, а та, новая, полная энергии и хладнокровного разбора меня, на нее я не буду опираться, в ней мало любви, есть дружба и какое-то снисхождение, больше сердцу худшей обиды. <...> Да, действительно я отравила его жизнь, злейший враг не мог сделать ему больше зла». <sup>26</sup>

Вся эта ситуация, естественно, только усугубилась, когда Тучкова-Огарева забеременела: «Герцен жалел о прошлом — я с ужасом проходила в своем уме все, что было — с мучительной болью не раз я думала обо всем этом, видела, что и Герцен думает, но вчера мы в первый раз резко коснулись до больных мест. Герцен говорил, как всегда, с недоверием к моему пониманию и с невероятной жесткостью, прибавляя: „Что я говорю, не должно оскорбить тебя...“ <...> Мы заговорили об этом потому, что *Огарев иногда пропадает на несколько часов и возвращается немного выпивши*. Когда я говорю ему, он скрывает правду; но я чувствую, что говорю уже не прежним энергическим голосом, говорю слабо, нерешительно, взглядом вымаливаю прощенье за то, что собираюсь сказать <...> кажется, у меня будет ребенок, *бедный, бедный ребенок, непрошенный, неприглашенный, никем не благословленный* вступит он в жизнь. Герцен думает с ужасом, как примет это Огарев». <sup>27</sup>

Как мы видим, Достоевский в своем рассказе действительно многое угадал — причем не только в сложной диалектике чувств обманутого мужа к своему счастливому сопернику, но даже и в конкретных отношениях Огарева и Герцена или, по крайней мере, в том, как они представлялись самому предмету их размовки. Причем собственный роман Герцена, написанный много лет тому назад, оказывается, таким образом, в рассказе «Вечный муж» не только одним из его непосредственных претекстов, но и катализатором актуальности его реально-биографического подтекста.

<sup>25</sup> Тучкова-Огарева Н. А. Из «Дневника» и записных книжек // Н. П. Огарев в воспоминаниях современников. С. 327–329.

<sup>26</sup> Там же. С. 330, 332.

<sup>27</sup> Там же. С. 332–333.

## 3

Прежде всего обратим внимание на имена и отчества героев рассказа Достоевского. Вельчанинова зовут *Алексей Иванович* (Герцен — *Александр Иванович*), жену Трусозцкого — *Натальей* Васильевной (жену Огарева звали *Наталья Алексеевна*), так что главный герой «Вечного мужа» носит отчество Герцена, а имя — похожее на имя Герцена, но полностью совпадающее с именем отца Тучковой-Огаревой.

В результате романа Вельчанинова с Натальей Васильевной *восемь с половиной лет назад* родилась дочь *Лиза*, а именно это имя носила старшая дочь Герцена от Тучковой-Огаревой (единственный оставшийся в живых к этому времени их ребенок). При этом реальная Лиза родилась в 1858 году и, следовательно, ко времени знакомства Достоевского с Огаревым в Женеве ей было почти столько же. Наконец, при рождении она получила фамилию Огарева и до одиннадцати лет не знала, что ее отцом был Герцен.<sup>28</sup>

Более того, само заглавие рассказа Достоевского, возможно, не в последнюю очередь восходит к выражению, использованному Герценом в «Былом и думах», — причем как раз в той самой главе, в которой он рассказал о своем романе с Р.: «Повесть вышла плоха. Когда я писал ее, Р. не собиралась в Москву, и один человек, догадывавшийся о том, что что-то было между мной и Р., был „вечный немец“ К. И. Зонненберг» (VIII, 350).<sup>29</sup>

В образе Вельчанинова бросаются в глаза и некоторые явные черты Герцена. Так, этому герою присущ тот внешний блеск в поведении и разговоре, которым славился Герцен: «Он вдруг громко и охотно заговорил, схватив первую попавшуюся мысль, и не прошло еще пяти минут, как он уже овладел вниманием всех бывших в гостиной. Он великолепно изучил искусство болтать в светском обществе, то есть искусство казаться совершенно простодушным и показывать в то же время вид, что и слушателей своих считает за таких же простодушных, как сам, людей. Чрезвычайно натурально мог прикинуться он, когда надо, веселейшим и счастливейшим человеком. Очень ловко умел тоже вставить между словами острое и задирающее словцо, веселый намек, *смешной каламбур*, но совершенно как бы невзначай, как бы и не замечая, — тогда как и острога, и каламбур, и самый-то разговор, может быть, давным-давно уже были заготовлены и заучены и уже не раз употреблялись» (9, 72).

Несколько ироническое освещение этой черты Вельчанинова, которое ощущается в приведенном фрагменте, более чем естественно, если речь идет о черте реального человека, ставшего к концу 1860-х годов идейным оппонентом Достоевского.

Сравни впечатления современников от поведения в обществе Герцена: «Герцен поражал своей бойкостью и остроумием: речь его сверкала неистощимым каскадом острог, шуток, каламбуров, блестящей игрою неожиданного сближения мыслей и образов» (А. П. Милюков); «Это был ум глубокий, но не отвлеченный, а жизненный, реальный, схватывающий идеальную и практическую сущность каждого предмета и каждого понятия. Такой широкий, захватывающий ум не мог удовлетвориться какой-нибудь одной областью мысли или сферой знания, и Герцену действительно „была звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна“» (Н. В. Шелгунов).<sup>30</sup>

То, что более счастливый соперник Трусозцкого в искании руки Надежды Захлебниной Александр Лобов воспитывался в доме родителей своей невесты, возможно, также соотносится с романом Герцена «Кто виноват?» и с собственным детством его автора: «Конечно, у меня теперь ничего нет, я даже воспитывался в их доме, с самого детства... — Как так? — А так, что я сын одного отдаленного родственника жены этого

<sup>28</sup> Дрыжакова Е. Н. Герцен на Западе. СПб., 1999. С. 156.

<sup>29</sup> 17 (29) октября 1867 года Достоевский получил от Огарева четыре книги «Былого и дум» Герцена (Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской // Лит. наследство. 1973. Т. 86. Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 246). При этом сразу по приезде в Дрезден он целенаправленно искал в книжных лавках мемуарную книгу Герцена и покупал выпуски «Полярной звезды» с фрагментами из них (*Достоевская А. Г. Воспоминания*. С. 206, 706).

<sup>30</sup> А. И. Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956. С. 224, 251.

Захлебниина, и когда все мои померли и оставили меня восьми лет, то старик меня взял к себе и потом отдал в гимназию» (9, 92–93).

В романе Герцена, правда, ситуация была несколько иная: Любонька, незаконная дочь помещика Негрова, воспитывается в его доме, а Круциферский попадает в него в качестве домашнего учителя. Зато будущая жена самого Герцена была дочерью его родного дяди и до семилетнего возраста воспитывалась в его доме.

Лиза в рассказе Достоевского все-таки в конце концов умирает, оказываясь тем самым случайной жертвой любовной интриги Вельчанинова, в результате которой она явилась на свет законнорожденной, но неродной дочерью Трусоцкого. Ее настоящий отец Вельчанинов узнает о существовании своей дочери только незадолго до ее смерти и даже не успевает дать ей почувствовать всей силы своей любви: «Главное страдание его состояло в том, что Лиза не успела узнать его и умерла, не зная, как он мучительно любил ее! Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том, — поминутно думал он об этом теперь, — чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь непрерывно ощущала его любовь на себе. „Выше нет никакой цели ни у кого из людей и не может быть!“ — задумывался он иногда в мрачном восторге» (9, 62).

Как и Герцену, потерявшему вначале при кораблекрушении своего сына от первого брака Колоу, а затем из-за эпидемии дифтерии и двоих детей-близнецов от второго брака: Елену и Алексея, Вельчанинову так и не удается спасти свою дочь.<sup>31</sup>

Есть в этом образе и детали, которые равным образом могли бы намекать как на Герцена, так и на Огарева. К ним явно относится, например, то, что Вельчанинов остается на лето в Петербурге, потому что занят делом по наследству, которое в конце концов заканчивается для него благоприятно: «То же случилось и с его адвокатом; а между тем адвокату было что сообщить: тяжёбное дело было им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма незначительной долею оспариваемого ими наследства» (9, 62).

При этом полученное Вельчаниновым наследство предопределяет то, что в финале рассказа он даже выглядит лучше, нежели вначале: «Причиною всех этих выгодных и здравых перемен к лучшему был, разумеется, выигранный процесс. Вельчанинову досталось всего шестьдесят тысяч рублей, — дело бесспорно невеликое, но для него очень важное: во-первых, он тотчас же почувствовал себя опять на твердой почве, — стало быть, утолился нравственно; он знал теперь уже наверно, что этих последних денег своих *не промотает „как дурак“, как промотал свои первые два состояния*, и что ему хватит на всю жизнь».

Особое удовлетворение он испытывает от ощущения собственного благополучия: «„Как бы там ни трещало у них общественное здание и что бы они там ни трубили, — думал он иногда, приглядываясь и прислушиваясь ко всему чудесному и невероятному, совершающемуся кругом него и по всей России, — во что бы там ни перерождались люди и мысли, *у меня все-таки всегда будет хоть этот тонкий и вкусный обед, за который я теперь сажусь, а стало быть, я ко всему приготовлен*“» (9, 107).

Сходным образом начинается рассказ Герцена в «Былом и думах» о том, как ему самому удалось отстоять свое наследство в результате удачной сделки с Ротшильдом: «Глупо или притворно было бы в наше время денежного неурстройства пренебрегать состоянием. *Деньги — независимость, сила, оружие*. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись в чем были от политических кораблекрушений» (X, 132).

<sup>31</sup> Как известно, уже после написания рассказа «Вечный муж» и после смерти Герцена покончила с собой и старшая его дочь от второго брака Лиза, на что Достоевский отозвался в «Дневнике писателя за 1876 год», высказав при этом мнение о том, что «*умерла она от тоски (слишком ранней тоски) и бесцельности жизни — лишь вследствие своего извращенного теорией воспитания в родительском доме, воспитания с ошибочным понятием о высшем смысле и целях жизни, с намеренным истреблением в душе ее всякой веры в ее бессмертие*» (24, 54).

Герой Достоевского придает финансовой независимости не меньшее значение: «Эта нежная до сладострастия мысль мало-помалу овладевала им совершенно и произвела в нем переворот даже физический, не говоря уже о нравственном: он смотрел теперь совсем другим человеком в сравнении с тем „хомяком“, которого мы описывали за два года назад и с которым уже начинали случаться такие неприличные истории, — смотрел весело, ясно, важно» (9, 107).

Одновременно эта черта Вельчанинова, по-видимому, по принципу «от противного» отсылает к истории с «огаревским наследством», в результате которого Огарев, в отличие от Герцена, оказался за границей практически без средств.

Зато Трусоцкий наделен рядом явных внешних сходжений с Огаревым. Казалось бы «смирный» тип, он после смерти жены пускается, однако, в жесточайший разгул, в ходе которого безобразничает и издевается над своей законной, хотя и неродной, дочерью: «Его и из гостиницы сюда выжили, потому что очень уж безобразничал. Ну, не грех ли, с собой *девку ночью привел*, когда тут же робенок с понятием! Кричит: „Это вот тебе будет мать, коли я того захочу!“ Так верите ли, чего уж девка, а та ему плюнула в харю. Кричит: „Ты, говорит, мне не дочь, а в...док“» (9, 50).<sup>32</sup> При этом его не останавливает даже смерть Лизы. «*Фу, как он пьет, я вам скажу!* — рассказывает о том, как провожал Трусоцкого на вокзал Александр Лобов. — *Мы три бутылки выпили, Предпосылов тоже, — но как он пьет, как он пьет!* Песни пел в вагоне, об вас вспоминал, ручкой делал, кланяться вам велел» (9, 104–105).

Впрочем, как это имело место в романе Герцена «Кто виноват?» и будет иметь место в собственном романе Достоевского «Бесы», в «Вечном муже» присутствует не только прямая прототипичность. Так, например, одна яркая черта биографии Огарева — выдача им своей первой жене крупного денежного векселя на свое имя, которая фактически лишила его состояния и обрекла на зависимое существование, — декларируется в рассказе не Трусоцким, а Александром Лобовым: «...я прямо ей обещался, при двух свидетелях, в том, что если она когда полюбит другого или просто раскается, что за меня вышла, и захочет со мной развестись, то я тотчас же выдаю ей акт в моем прелюбодеянии, — и тем поддержу, стало быть, где следует, ее просьбу о разводе. Мало того: в случае, если бы я впоследствии захотел на попятный двор и отказался бы выдать этот акт, то, для ее обеспечения, в самый день нашей свадьбы, я выдаю ей вексель в сто тысяч рублей на себя, так что в случае моего упорства насчет выдачи акта она сейчас же может передать мой вексель — и меня под сюркуп!» (9, 92).<sup>33</sup>

Долгое время не замечая измену жены, Трусоцкий по-своему любил Вельчанинова, в чем и признается ему теперь, спустя годы: «— Я вас любил, Алексей Иванович, — произнес Павел Павлович, как бы вдруг решившись, — и весь тот год в Т. любил-с. Вы не заметили-с, — продолжал он немного вздрагивавшим голосом, к решительному ужасу Вельчанинова, — я стоял слишком мелко в сравнении с вами-с, чтобы дать

<sup>32</sup> Изображая пусть и запоздалый бунт Трусоцкого, Достоевский, как известно, мог опираться в этом на один из очевидных претекстов своего рассказа — пьесу И. С. Тургенева «Провинциалка», герой которой Ступендзев все же осмеливается ревновать свою жену Дарью Ивановну к графу Любину. Однако его все же скоро умиряет обещание «хорошего места» в Петербурге, ради которого жена его и идет на этот адюльтер (см.: *Серман И. З.* «Провинциалка» Тургенева и «Вечный муж» Достоевского // Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем. М.; Л., 1966. С. 109–111).

<sup>33</sup> В то же время в облике Лобова есть черты не только пасынка Достоевского П. А. Исаева (см.: 9, 476), но и молодых русских социалистов, причем в какой-то степени даже и Н. Г. Чернышевского: «И знаете, прежде, давно уже, я был чистый славянофил по убеждениям, но теперь мы ждем зари с запада...» (9, 105). Как известно, Чернышевский вначале совершенно разделял надежды Герцена на русскую общину, однако затем стал критиковать его за это и перешел на гораздо более радикальные позиции. Некоторые шаржированные черты молодого русского социалиста, судя по всему, отсылают к Базарову и в то же время предвосхищают образ Петра Верховенского: «— Садитесь, — пригласил Вельчанинов, — но молодой человек успел усесться еще и до приглашения»; «Всё это он процедил сквозь зубы, как фат, чуть-чуть даже удостоивая выговаривать слова; даже опять вынул лорнет и на минутку на что-то направил его, пока говорил» (9, 89, 90).

вам заметить. Да и не нужно, может быть, было-с. И во все эти девять лет я об вас запомнил-с, потому что я такого года не знал в моей жизни, как тот. (Глаза Павла Павловича как-то особенно заблистали.) Я многие ваши слова и изречения запомнил-с, ваши мысли-с. Я об вас как об пылком к доброму чувству и образованном человеке всегда вспоминал-с, высокообразованном-с и с мыслями-с. „Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с“ — вы сами это сказали, может, забыли, а я запомнил-с. Я на вас всегда как на человека с великим чувством, стало быть, и рассчитывал-с... а стало быть, и верил-с — несмотря ни на что-с... — Подбородок его вдруг затрясся» (9, 87).

Те же самые чувства на протяжении почти всей своей жизни испытывал Огарев по отношению к Герцену, и последний в основном платил ему той же монетой. Если что в последние годы жизни Герцена и охладило их взаимоотношения, то, по-видимому, это даже не столько уход к нему Тучковой-Огаревой, сколько разногласия между ними в восприятии «молодой эмиграции» и в выборе методов общественной борьбы.<sup>34</sup>

Напряженность в отношениях между Вельчаниновым и Трусозким спустя годы, во время новой их встречи в Петербурге, определяется тем, что на руках у Трусозкого осталась родная дочь Вельчанинова, о которой тот узнает только теперь: «„Гм... он слишком понимает, в чем дело, и отместит мне Лизой!“ — думал он в страхе. Милый образ бедного ребенка грустно мелькнул перед ним. Сердце его забилось сильнее от мысли, что он сегодня же, скоро, через два часа, опять увидит *свою* Лизу. „Э, что тут говорить! — решил он с жаром, — теперь в этом вся жизнь и вся моя цель! Что там все эти пощечины и воспоминания!.. И для чего я только жил до сих пор? Беспорядок и грусть... а теперь — все другое, все по-другому!“ Но, несмотря на свой восторг, он задумывался все более и более. „Он замучает меня Лизой, это ясно! И Лизу замучает. Вот на этом-то он меня и доедет, за *все*“» (9, 49; курсив Достоевского. — С. К.).<sup>35</sup>

Ситуация, сложившаяся в как бы общей семье Герцена и Огарева, была несколько иной. Во-первых, Герцен все же сделал тот шаг по отношению к Тучковой-Огаревой, который не смог или не решился сделать Вельчанинов по отношению к Наталье Васильевне: он стал жить с ней как с гражданской женой и поэтому с самого начала, разумеется, прекрасно знал о рождении их общих детей. Во-вторых, Тучкова-Огарева вовсе не умерла, а только жила по большей части отдельно не только от Огарева, но — уже по своей собственной инициативе — и от Герцена.

Так что к моменту создания «Вечного мужа» Тучкова-Огарева воспитывала Лизу в основном одна, и, так же как и Трусозкий, не слишком успешно. Герцен беспокоился за свою дочь не меньше Вельчанинова.<sup>36</sup> А Огарев так же, как и Трусозкий, вполне оправдывая прозвище «вечного мужа», если бы кто-то вздумал применить его, как известно, в это время уже жил с новой, на сей раз гражданской (поскольку официально он оставался женат на Тучковой-Огаревой) женой Мери Сетерленд. Причем изображение в рассказе Достоевского новой жены Трусозкого также, возможно, содержит аллюзии на необычность этого союза Огарева: «Одна дама, вышедшая из вагона второго класса и замечательно хорошенькая, но что-то *уж слишком пышно разодетая для путешественницы*, почти тащила обеими руками за собою улана, очень молоденького и красивого офицера, который вырывался у нее из рук. <...> Купчику показалось это слишком уже скандальным; правда, и все смеялись, но купчик обиделся уже бо-

<sup>34</sup> «Мы на многое смотрим больше разно, чем прежде» (XXIX, 1, 114), — писал Герцен Огареву в письме от 3 июня (22 мая) 1867 года. См. подробнее: Козьмин Б. П. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» // Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России: Избр. труды. М., 1961. С. 488–577; Дрыжакова Е. Н. Герцен на Западе. С. 190–203.

<sup>35</sup> В эпизодах, предшествующих смерти Лизы, несомненно, отразились переживания Достоевского от потери его собственной новорожденной дочери Сони, скончавшейся в Женеве в мае 1868 года.

<sup>36</sup> «Почему ты имеешь право думать только о себе, *вырывать у меня из рук Лизу — не зная даже, умеешь ли ее спасти?*» — писал Герцен Тучковой-Огаревой 29–30 (17–18) мая 1867 года (XXIX, 1, 109).

лее за оскорбленную, как показалось ему почему-то, нравственность. — Вишь, „Митенька!“ — произнес он укорительно, передразнив тоненький голосок барыни. — И в публике уже не стыдятся! И подойдя качаясь к бросившейся на первый стул даме, успевшей усадить рядом с собой и улана, он презрительно осмотрел обоих и протянул нараспев: — *Шлюха ты, шлюха, хвост отшлепала!*» (9, 107–108).

Наконец, в финале рассказа Достоевского прорывается одна деталь, по-видимому непосредственно отсылающая — изо всех недавних личных контактов Достоевского конца 1860-х годов — именно к Огареву. На вопрос Трусозкого, как же ему объяснить его новой жене то, что Вельчанинов так и не посетит их в их имении: «— Как же мне... если так-с, как же сказать-то Олимпиаде Семеновне, когда вы через неделю не пожалуете, а она будет ждать-с?» — Вельчанинов отвечает: «— Экая трудность! Скажите, что я *ногу сломал* или в этом роде» (9, 111). Правда, при этом деталь, относящаяся к обстоятельствам жизни Огарева начала 1868 года, отнесена в «Вечном муже» не к Трусозкому, а к Вельчанинову. Ну так ведь и носит она не реальный, а выдуманный характер.

Криптографическая поэтика Достоевского, таким образом, строится временами на хотя и не прямых, но довольно красноречивых аллюзиях.

#### 4

Конечно, вполне возможно, что Огарев говорил что-нибудь о семейной драме Герцена Достоевскому, которого она, конечно же, интересовала сразу по нескольким причинам. Во-первых, Достоевский раньше не раз встречался с Герценом и даже беседовал с его средней дочерью от первого брака Ольгой.<sup>37</sup> Во-вторых, он читал и перечитывал многие произведения самого Герцена, регулярно обращался к его изданиям и даже брал в Женеве у Огарева «четыре книги „Былого и дум“». <sup>38</sup> А в-третьих, вторая семейная драма Герцена могла восприниматься Достоевским как явление в определенной степени закономерное, поскольку отношения Герцена в области любви и брака были отмечены современными тенденциями к преобразованию традиционной семьи, которые зрелому Достоевскому были, безусловно, в целом чужды.<sup>39</sup>

Правда, даже если Огарев говорил об этом с Достоевским, вряд ли он мог признаваться ему в любви-ненависти к Герцену. Уход к нему Тучковой-Огаревой сам Огарев склонен был оправдывать. «Ты полюбила моего брата (т. е. А. И. Герцена. — С. К.), — писал он ей 2 ноября 1865 года. — Я не стану говорить о том, в каком отношении я тогда был к тебе; одно скажу, что, вместо моего мечтаемого влияния на тебя, чувствовал, что я нахожусь подвластным и не возышаю, а унижаю тебя. Я был уверен, что любовь брата тебя возвысит, — и все ставило жизнь на такую высокую ногу, как редко случай ставит ее. Ты могла любить моего брата и быть матерью детей моей сестры... и твоей сестры (умершей Н. А. Герцен. — С. К.), т. е. той женщины, которая для тебя была выше всего в мире. В самом деле — что за великое отношение становилось между всеми нами!»<sup>40</sup>

<sup>37</sup> При это он сам впоследствии полагал, что беседовал тогда с Лизой Огаревой. См. об этом: 23, 323–326; *Дрыжакова Е. Н.* По живым следам Достоевского. СПб., 2008. С. 352–353.

<sup>38</sup> Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 2. С. 146. Правда, часть, посвященная первой семейной драме Герцена, при его жизни не публиковалась, а о второй своей семейной драме он в «Былом и думах», естественно, не рассказывал. Однако Достоевский, разумеется, был осведомлен о них из других источников. Например, А. П. Сулова хорошо знала о второй из них еще до их совместного с Достоевским путешествия 1863 года. См.: *Дрыжакова Е. Н.* По живым следам Достоевского. С. 355.

<sup>39</sup> В трансформированном виде они воспроизведены в романе Чернышевского «Что делать?», с которым Достоевский полемизировал во многих своих произведениях. См. об этом: *Кибальник С. А.* Из рассказов «новых людей» о «новых людях» (Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» как закамуфлированный памфлет против А. И. Герцена) // Текст и традиция. СПб., 2021. № 9.

<sup>40</sup> Лит. наследство. 1956. Т. 63. Герцен и Огарев. Кн. 3. С. 507–508.

Однако ничего хорошего из этого не получилось, и виной тому во многом, по мнению Огарева, была сама Тучкова-Огарева: «Мой разрыв с тобой потому, что ты преследуешь детей моей сестры, которых я — умру — но не дам в обиду, а преследуешь ты их унижительно для себя, потому что, во-первых, ты их считала своими детьми, и, <во>-вторых, они против тебя ничего не сделали, и если ты не лжешь — ты не можешь сказать иначе». «Ради памяти умерших детей, которая должна быть *чиста*, ради жизни Лизы, которая должна быть *чиста*, — я умоляю тебя: „Опомнись!“» — призывал ее Огарев.<sup>41</sup>

При этом более всего Огаревым владела тревога за единственную оставшуюся в живых дочь Тучковой-Огаревой и Герцена: «А лучше всего опомнись, Натали, подумай, *что лучше сделать для Лизы*; поговорим вместе, когда прикажешь». Этой же тревогой за Лизу начинается и другое письмо Огарева к Тучковой-Огаревой: «Коренная мысль у тебя ясна до того, что разве слепой не прочел бы ее. Коренная мысль: „Выгони Тату и тогда я с Лизой приеду в дом твой“... *Этой мыслью мачехи ты портишь жизнь свою, Лизину, его и всех...*».<sup>42</sup> Неспособность Тучковой-Огаревой найти общий язык с детьми Герцена от первого брака также могла отозваться в рассказе Достоевского той мучительной ревностью, которой даже после смерти своей жены Натали Васильевны невольно казнит свою дочь Трусоцкий.

Между тем Герцен до конца своих дней испытывал по отношению к Огареву чувство вины: «Тогда только проснулась мысль в Александре, что он сломал, уничтожил жизнь брата своего, друга, который никогда ему не причинил горя, во всю жизнь! Тогда настало время упреков и себе и мне — и жизнь наша превратилась в мрачную и тяжелую. Позже его мучило одиночество Огарева и еще больше мучило сближение Огарева с недостойной женщиной. Герцен говорил всегда с упреком: „Мы виноваты, мы толкнули его в эту страшную жизнь“».<sup>43</sup> И это также могло питать в рассказе Достоевского сюжетную линию Вельчанинов — Трусоцкий.

Все эти отношения между известными людьми и знакомыми Достоевского, разумеется, могли преломиться в его рассказе только криптографически — причем переплетаясь с его собственными былыми переживаниями, которые трансформированы в его тексте в еще большей степени.

Существование всех этих криптографических смыслов рассказа не вызывает сомнений, поскольку, во-первых, маркеры этих смыслов в тексте достаточно многочисленны и знаменательны, а во-вторых, поскольку огаревский подтекст удостоверен авторской пометой в плане рассказа. Легко разгадываемый криптоним «O-ff», сохранившийся в черновых редакциях к рассказу, оказывается ключом к разгадке его биографического подтекста. Этот подтекст воплощается в нем через криптографическую поэтику — целую систему, в которую складывается в рассказе ряд, казалось бы, разрозненных аллюзий. Без ее учета трудно совершенно адекватно уловить в этом его произведении художественную логику решения темы супружеской измены.

Криптопоэтика Достоевского переплетается в «Вечном муже» с его интертекстуальной поэтикой. Контуры семейной драмы Огарева и Герцена вводятся не только непосредственно, но также и через посредство интертекстуальных связей с романом Герцена «Кто виноват?». Безусловно, Достоевский опирается при этом и на собственный опыт криптографического письма, ранее уже опробованный им в таких произведениях, как романы «Село Степанчиково и его обитатели», «Игрок» и «Идиот».<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Там же; курсив Огарева. — С. К.

<sup>42</sup> Там же. С. 510.

<sup>43</sup> Тучкова-Огарева Н. А. Из «Дневника» и записных книжек. С. 338.

<sup>44</sup> См. об этом также: Кибальник С. А. Криптографические образы И. С. Тургенева в творчестве Ф. М. Достоевского 1860-х годов // Филологические науки. 2019. № 3. С. 77–86.